



Фото П.Трошкина, 1940 г.

Благодаря участнику форума ["Окрестности Петербурга"](#) с ником slawa2312 мы имеем возможность ознакомиться с отрывками из редкой и ценной книги ["В Снегах Финляндии"](#).

Автор: Борис Агапов.

Питкяранта. Громадный целлюлозный комбинат. Он совершенно цел. Он принадлежал иностранцу, концессионеру, и тот не позволил его жечь. Однако в первую же ночь после занятия города загорелись кучи угля. Очень высокая заводская труба торчит над ними. (Спустя месяц выяснилось, что на этой трубе в течение сорока дней сидел финский дозорный, он жил в ее отверстии и сигнализировал, вероятно по радио, отрядам финских диверсантов.)

Если бы не разрушенный городок, все, казалось бы, мирно здесь.

...Суоми прекрасна. Она повторяет пейзажи Карелии, только с мягкостью, с уютом, освобождая их от дикости и суровости, присущих ее соседке.

Горы невысокие, похожие на холмы. Сосны, восходящие по склонам. Озера, отражающие лиловые закаты... Леса охраняют покой полей, долины округло переходят в возвышенности, между которыми бегут реки, не очень быстрые, не очень широкие. Дороги похожи на аллеи парков, каждый поворот открывает пейзажи один красивее другого...

Однако если бы кто-нибудь вздумал сфантазировать природу, самую удобную для обороны, он не смог бы изобрести ничего более хитрого.

Система озер, разложенных по земле, как невод: не страна озер, а страна соединенных островов. Узкие перешейки, по которым итти, как по доске, и на которых каждый человек — мишень. Возвышенности, расположенные в шахматном порядке, облицованные гранитом и покрытые лесами, где можно замаскировать любые соединения. Пустые пространства перед высотами, лишённые всяких прикрытий... Словом, местность, где один солдат может удержать, а то и уничтожить огнем целое подразделение.

Эти естественные условия усилены укреплениями, на создание которых было истрачено двадцать лет и тонны золота.

Менее, чем какая-нибудь другая страна, Финляндия приспособлена для действий тяжелой армии. Танки, мощные пушки, тягачи могут двигаться здесь только по дорогам. Шесть метров ширины, а направо и налево или непроходимый лес, или болото, не замерзающее даже в жесточайший мороз, или озеро.

Финский военный журнал "Кувалехти" писал в 1939 году: "Руководство финской армии в течение 20 лет стремилось создать такую армию, которая бы соответствовала военно-географическим и другим особенностям страны. Вооружение финской армии значительно легче, чем в среднеевропейских армиях. Для действий в лесах имеется специальное оружие.

Ночь. Низкое небо, кажется, - единственное, что содержит в себе немного света. Черные деревья шумят от несущегося ветра. Рядом гудит Ладога. Огромный скелет крана торчит, уходя в тучи. Его железные переплеты иногда вдруг становятся четкими, когда пламя горящего угля освещает облака. Отсветы пламени плавают, шарят по крышам домов и вдруг восходят вверх и снова ниспадают исчезая... То закутанный всадник проедет, то мотор загудит, невидимый, то далеко ухнет разрыв, и снова никого. Варокаа! Осторожно!

Это слово над входом в завод.

...Танк подходит к нам. Из переднего люка неслышно, как ночной зверек, выскальзывает черная фигурка. Танкист. Маленький, мягкий, он свернулся комочком на гусенице и глядит на нас. Юношеский, почти женский голос спрашивает:

— Куда едем?

— На огневые позиции.

Он опять скользит в люк, забрав наши мешки. Мы карабкаемся в танк — здесь тесно, как в будильнике. Пушка упирается мне в грудь. Мой спутник, фотокорреспондент Паша Трошкин, стоит у меня на ноге. Высунувшись из башни, гляжу кругом. Запах пожарищ, сладковатый, как запах тления. Рывком мы трогаемся.

...Они сжигают все, отступая. Угоняют жителей силой. Часто наши находили людей, застреленных возле домов: они не хотели уходить. Метод поджогов разработан хитро. Когда все население выгнано из домов и отправлено в тыл, отряды шюцкоровцев рыщут по жилищам, ставят в дрова или в матрацы бутылки с бензином, опускают в них шнуры или даже лучины и зажигают. Потом — исчезают. Села загораются уже тогда, когда в них нет ни одного человека. Это для того, чтобы легче было убеждать население, будто поджигатель — Красная Армия.

...Перевал. Вниз сбегает широкое снежное поле. Направо и налево — горбы невысоких гор, покрытые лесом. Зазубренные их хребты чернеют на фоне оранжевых зарев: противник отступает. Винтовочные выстрелы стучат там.

Проваливаясь по колено в снег, мы идем гуськом вдоль склона. Часовые с винтовкой на

локте шопотом окликают нас. Снег громко квакает под ногами.

Черные кусты; это батарея.

Шумные вздохи и возня: это лошади.

высокие скалы, перед нами — лесок?..

Только подойдя вплотную, видим, что лесок этот сделан недавно. Сквозь ветви воткнутых в снег елок светятся костры, слышен кашель и тихий говор.

Здесь артиллеристы. Их штаб.

Высокий шалаш из елок оперся о гранитную стену. Стремнина костра бушует посредине.

Пудовая церковная свеча, насаженная на острый кол, оплывает громадными зубьями стеарина. Возле нее — бурки, овчина. Кругом — шлемы со звездами, треугольники поднятых воротников, розовые лица. Глянцевитые ремни, тугие складки тулупов-, и свор-

— свисающие хвойные ветви, из которых черная каплет смола. Пахнет лошадьми, кожей и дымом. Самым невероятным здесь был бы женский голос, самым невыносимым — стихи. Блеснув на зелени карты, циркуль пошел шагать, измеряя расстояния. Кольцо табачного дыма полетело в костер.

— За этой высотой у него батарея. Впереди у него пулеметы в щелях. Отсюда в 3.30 пойдет второй батальон.

— Мы будем грузить сюда, где сегодня были на рекогносцировке. Три батареи направо, две левее, на ноль четыре.

— Вызовите наблюдательный пункт »на высоте «кот».

Мы робко усаживаемся на солому, влажную от тающего под ней снега. Нас замечают, но не рассматривают.

— Пейте чай, будьте как дома.

Это сказано таким тоном, что, кажется, надо ответить:

— Есть быть как дома.

Полковник Нестерюк — начальник артиллерии N-ской дивизии. Говорит он медленно, еле слышно, равнодушно, как человек, привыкший, чтобы ему повиновались. Он плотный, в громадных меховых сапогах, выбритый. Он очень суров. Но в его отношениях с подчиненными есть что-то особенное, что напоминает почему-то совсем другую обстановку: начальника очень крупного завода га очень ответственный момент.

Писк телефонного вызова, глухой, как из-под подушки.

— Товарищ полковник, штаб N-ского полка запрашивает, через сколько минут начнется артподготовка.

— Через тридцать две секунды, — еле слышно роняет Нестерюк. Мы принимаемся за чай, обжигая губы о закопченные кружки, и тут оглушительный треск раздается в воздухе. Тотчас второй следует за ним. Потом два почти разом. Потом — немного подальше — глухой бух гаубицы, и теперь слышно, как со свистящим шуршанием идут над

нами снаряды.

Канонада нарастает. Кажется, от нес трескаются кости черепа. Она бьет не только в уши, но в живот, в горло. Она рушится отовсюду, загромождая пространство кубами грохота, так что даже трудно двинуться в этой звуковой тесноте.

— Узнайте, как ложатся, — говорит Нестерюк.

Постепенно привыкаешь к этому концерту. Чудовищные массы металла и взрывчатых веществ несутся сейчас по воздуху и вспарывают блиндажи врага. Выверенный залп

протирает путь пехоте. Сотни советских жизней сохранит этот снарядный смерч. Командиры слушают, полузакрыв глаза. Иногда они переглядываются, склоняются над картами.

— Не разорвался?

— Нет, вот он.

— А это откуда?

— Полковая справа.

— Какая полковая, это — Машилов. Тяжелая.

Начинается разговор. Паша рассказывает о Монголии. Я — об Узбекистане.

— Так-таки десять дней тому назад вы ходили без пальто? — недоверчиво косится Нестерюк.

— Да, под голубым небом юга.

Слово «голубое небо» вызывает улыбки.

Все обращаются к пареньку, который возится с канцелярией, разложенной на крышке чемодана. Паренек розовый, веснушчатый, улыбчивый.

— Ну, поэт, а у нас какое небо?

— Небо всегда голубое, товарищ полковник. За каждой тучей есть голубое небо.

— У поэтов действительно бывает, что и черное выглядит как белое. Прочтите нам что-нибудь, поэт.

Паренек охотно:

— А что же вам прочесть? Рассказ Чехова Антона «Хирургия»? Или стихи Лермонтова?

— А что хотите. Только не очень длинное.

И тут еще один собеседник появляется среди нас. Хотя слова его произносит другой и голосом детского тембра, но он прекрасно входит в беседу и в канонаду. Я вспоминаю лицо с опущенным углом рта, в котором торчит изжеванная папироса, громоподобную манеру ставить слова одно на другое, как тяжелые слитки смыслами немного грузинский акцент, когда о голосом вылетает ветер горлового дыхания. Как идут ему эти вспыхи кострового пламени, это шипение снарядов летящих над нами.

...Парадом развернув

моих страниц войска, я прохожу

по строчечному фронту. Стихи стоят

свинцово тяжело,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,

к жерлу прижав жерло нацеленных

зияющих заглавий...

— Он у меня всех поэтов знает, — говорит Нестерюк. — Вместо библиотеки вожу.

Разговор пошел о Маяковском. Под богатырский храп соседей, под фыркание коней и грохот пушек шел наш литературный вечер, в течение которого было выпущено тысяча двести снарядов.

Батальон N-ского полка.

В шалаше тесно для партсобрания. Поэтому, пока созывают товарищей, выгребаем уголья из нескольких костров и сваливаем под скалой прямо на воздухе. Усаживаемся вокруг. Внизу — острые носки валенок, из которых, как из чайников, идут вверх струйки пара, выше — растопыренные над жаром! пальцы рук, еще выше — освещенные

подбородки и козырьки шлемов, над всем этим — звезды и пули. Они звенят, как если бы штыком чиркнуть по проволоке. Пока подходит народ, идут рассказы.

...Когда занимали Питкяранту, на амвон церкви выскочила осатанелая монашка, волоча за собой пулемет...

...Солдаты, попадая в плен, дрожат от страха: они уверены, что их сейчас же начнут мучить.

...Как-то взяли в плен двоих. Те долго не отвечали на вопросы, молчали, потом один вдруг попросил нашего командира отвернуть полу тулупа и стал щупать гимнастерку и штаны: их уверяли, что советские войска одеты в домотканную одежду.

...Шюцкоровцы стреляют разрывными пулями. Они оставляют в тылу отряды, задача которых — бандитизм. Они подвешиваются в люльках между вершинами сосен и оттуда обстреливают дороги.

...Поймали шюцкоровца. Он супился, молчал, отворачивался, потом его разговорили. История его проста: он был продавцом в Хельсинки. Шюцкоровцы решили его завербовать и поставили условие: или организация, или безработица. У него семья. Он испугался. А тут ему пообещали всякие блага. - Ну, а когда началась война, его и приперли к стенке: раз ты шюцкоровец, иди в первые ряды драться с «москалями». А если придется плохо, самоубийство. Этот не самоубился, а другой повесился в бане на подтяжках.

— Ну, товарищи, партийное собрание объявляю открытым, — сказал политрук.

На повестке дня один вопрос: прием в члены и кандидаты партии. Здесь, на передовых позициях, это особенно волнует бойцов и командиров. Люди проверяются делом, а где же лучше можно проверить идейность и преданность человека, как не в опасных условиях фронта? Один за другим выступают товарищи.

— Краткая биография?

— Сын бедняка в селении Носковцы на Украине. Кончил семилетку. Работал в колхозе. Пошел в Красную Армию.

— Сын колхозника. Сын бывшего батрака. Сын слесаря.

— Белоруссия. Украина, Азербайджан.

— Семилетка, десятилетка, военное училище.

Юные лица, взволнованный голос. Кто нервно подтягивает штаны, кто вдруг снимет шлем на морозе — слишком ответственен этот долгожданный момент, который должен быть поворотным пунктом всей жизни.

— Ну, пускай расскажет товарищ, в каких боевых операциях участвовал.

...Ночь. Снег. Лес. Он получил боевой приказ — поставить два пулемета на флангах наступающей колонны. Увязая в снегу, подымая пулеметы на руки, хоронясь за каждым холмиком, за каждой сосной, они подползали к белофиннам, которые засели за замерзшей рекой. В этом месте река была широкой — не менее двадцати метров. На том берегу — проволочные заграждения в пять колов и огневые точки, укрытые блиндажами. Люди были еще не обстрелянные, в дело шли в первый раз. Но чувство ответственности, когда от точности их огня зависели жизни товарищей и успех задачи, бодрило всех. Быстро отрыли окопчики, нарубили веток, замаскировались... Поэтому, когда получен был приказ стрелять, все было готово, как на ученьи. Однако тут не маневры! Ураганный огонь белофиннов встретил наших бойцов на этом открытом со всех сторон подступе к реке.

— Мы были видны, как в зеркале. У них все было приготовлено заранее, местность

разбита на квадраты, кинжальный огонь в несколько слоев обеспечен, и первая наша атака была отбита.

— Поперек дороги били пулеметы, вдоль — снайперы. А нам их не видно.

Ничто не могло сдержать второго приступа красных войск. Пулеметы Лаврова заставляли умолкать огневые точки противника. На место выбывающих из строя бойцов становились, а вернее, ложились возле пулеметов новые товарищи. Ни разу не отказало боевое оружие в молодых руках смельчаков, и вот уже все реже выстрелы врага, вот уже первые цепи бойцов режут проволоку на том берегу и дружное «ура» гонит финнов с позиций, которые казались неприступными.

Только после боя Лавров почувствовал, как устали пальцы, нажимавшие спуск пулемета, и глаза, высматривавшие прицел.

— А ты, товарищ, что можешь рассказать о своих боевых делах? И Сенчук, 1918 года рождения, стоя на коленях у костра и тиская шлем, докладывает о своей боевой жизни пулеметчика. Как и других, его принимают в кандидаты, а через день он смог бы рассказать собранию еще эпизод, о котором узнал теперь весь полк.

Штурм одной из высот был особенно труден. Природа устроила ее как будто специально для обороны: почти отвесная скала, за нею—плоская, голая площадка, потом опять скала и опять площадка. Лестница, каждая ступенька которой простреливается из гранитно-бетонных укреплений. Сенчук шел со своим пулеметным взводом, ложился, стрелял и шел опять, заходя противнику во фланг. Земля, взрываема пулями, запорошила ему глаза. Валенки были полны снегом. Но он слышал, что батальон движется вперед и белофинны отступают. Он был так увлечен боем, что сразу не заметил ранения. Однако вскоре он не мог уже идти. Рана пришлась в ногу. Он послал своих вперед, а сам остался. Ползти назад было нельзя: могли пристрелить свои по ошибке. Он залег. Наступил день. Батальон собрался на отвоеванной позиции, а Сенчука не было. Решили, что он погиб геройской смертью. Товарищи с болью в сердце думали о славном парне, бесстрашном и честном друге и умном командире. И вот вечером, когда уже стемнело, появляется Сенчук. Хромая, он тащит на себе пулеметные ленты и части разбитого пулемета, которые еще могут пригодиться. Он пролежал день в снегу, хоронясь от финских пуль, с темнотой дополз до своих, а через несколько дней снова вернулся в строй, торжествуя, что ранение не оторвало его надолго от боевой жизни. Рассказ следует за рассказом. Молодые колхозники, слесари, токари учатся друг у друга смелости, оценивают свои дела и по делам судят о том, достоин или недостоин человек высокого звания коммуниста.

...Вечер. Дымят походные кухни, и куски жирного мяса плюхаются в котелки бойцов из огромной белой ложки повара. Треск первого выстрела пушек Нестерюка разрывает тишину. Оглушительный грохот наполняет воздух. Начинается артиллерийская подготовка.

Собрание закрывается. Через несколько часов, когда страшный стальной дождь расчистит путь, молодые коммунисты и кандидаты пойдут снова вперед, ведя за собой товарищей, тоже горящих мечтой заслужить делом маленькую книжку у сердца, такую же, как та, на которой когда-то был написан «№ 1» и фамилия: Ульянов.

Вышел приказ передвинуть наш командный пункт вперед.

Еще большую, чем обычно, подняли возню связисты.

— Переносу 112-й, ставлю новый!.. Слышите меня? Ставлю новый

— Рота связи?.. Рота связи?.. Выходим на новые позиции. Вдоль дороги, потом направо, там маяк... Пройдете дом, овин, в лесок... Слышите меня?

— Деревянкин! Пойдешь вдоль леса, протянешь шнур по забору, перекинешь через дорогу... Только повыше... Алло! Повыше, говорю, чтобы над башней танков, они там пойдут.

В беззаконной нашей баньке, вокруг опрокинутой шайки, при свете свечи, во всех доспехах и в табачном дыму — командиры. Карта, закапанная стеарином. Под потолком кто-то дохрапывает последние минуты сна.

Мы о политруком ждем. Четыре часа, и уже почти темно. Широкая лощина внизу. Пламя вырывается с треском из всех лесочков: идет артподготовка. Сегодня будет бой.

Гаубичные снаряды, шурша, как бы толчками проходят над нами. Они продираются сквозь воздух, который стал твердым от их скорости.

Это не страна, в которой живут люди. Это — выполненная в громадном рельефе стратегическая карта. Леса? Нет, прикрытия... Поля? Нет, обстреливаемая площадь. Дорожка к дому? Нет, путь в штаб полка. Что светится там? Костры комендантского взвода. А там — этот белый, неподвижный свет? Танковая часть.

Черные всадники, ведущие оседланных коней.

— Едем! Товарищ Степановский, вы — с нами?

— Да. Только я на одиннадцатом номере.

— Я вышлю вам человека, провести к новому КП.

Мы выходим. Нас человек восемь. Все вынимают револьверы. Все молчат. Идем гуськом, проваливаясь в снег. Высокий политрук рисуется впереди комбинацией черных треугольников — шлема, углов воротника, торчащими полами полушубка. Скалы справа, слева лес, — никого. Недавно здесь отступали финны.

Наконец — равнина, идем по проводам связи, потом ползем, потом делаем быстрые перебежки. Вот лесок, а вот и шалаши — наше новое обиталище.

Шалаши стоят в ряд за высоким бруствером из снега. Они похожи на черные кучи углей, в центре которых тлеет огонь. Это просто елки, поставленные под углом друг к другу. Они ни от чего не защищают, а только ограничивают пространство ночлега и немного маскируют костер.

Непривычному человеку все кажется странным. В шалаше место приобретает особую значительность: у костра — очень жарко, на полметра дальше — снег и холод. Ноги можно вытянуть только в одном направлении, иначе они упрутся в пламя или в соседа. Костер — это жизнь. Уже через три часа ходьбы или лежания в снегу о нем думаешь как о высшем счастье. Каждому вернувшемуся к нему освобождается место, как бы тесно ни было. Костер управляет движениями людей вокруг, заставляет их то придвигаться, то отползать. Его дым вызывает тысячи уловов, его жар требует делать множество изобретений, чтобы допускать его туда, где замерзло плечо, рука, колено... Пола шинели служит то ширмой от огня, то укрывает от холода.

Костер — декоратор. Когда пламя его спадает или новые дровины затмевают его, вдруг звезды проглядывают вверху, покрытая лунным сиянием поляна возникает в просвете между плечом соседа и коленом другого, и ты сразу просто в лесу, на морозе, в чужой, злой стране. Но чуть вспыхивает огонь, свет делает сплошной путаницу ветвей, лица товарищей выступают, и снова ты — дома.. Чтобы достать папиросу, надо повернуться, чтобы повернуться, надо сдвинуть спящего на коленях соседа, задрать вверх ногу, освободить правую руку... А. нога уже заоченела и заодно снимаешь валенок и кладешь

его греться, а ногу трешь где-то под самой крышей шалаша.

— Валенки горят! — кричат тебе. И, оставив ногу торчать, ты тянешься к валенку, который уже дымится и воняет. Удивительное вещество — валенок! Он как бы притягивает к себе пламя. Там, где и рука не чувствует еще жара, он, подлец, уже горит! Но все это мы постигли уже в другие ночи.

В первую мы не думали ни о чем, кроме боя.

Он шел недалеко. Его грохот долетал к нам.

Там брали высоты. Проклятые горушки, расставленные в шахматном порядке, как естественные укрепления.

Хотя снаряды финнов рвались близко и грохали то справа, то слева, а мороз превращал в очаги боли наши пальцы и спины, мы, трепеща, думали только о тех, чьи выстрелы трещали непрерывно. Мы легко различали их в общем грохоте, выделяя из сухого треска финских пулеметов, из коротких щелчков финских винтовок. Кто пустил вот эту гулкую очередь? Где он сейчас? Возле реки, или за сосной, или, может быть, в открытом поле, зарывшись в снег, мучительно напрягает зрение, силясь в темноте высмотреть врага. В эти минуты наши товарищи, с которыми мы вчера еще грели чай у костра и знакомились в темноте леса, узнавая голос раньше, чем обличье, лезли по скалам, обходили, перебежали, кидались в снег, стремясь вперед- и падая от пуль и разрывов. Мы молчали. Мы прислушивались к разговорам в соседнем шалаше, где был начальник штаба и связисты.

Начальник штаба, маленький капитан Алешин, иногда вваливался в наш шалаш и засыпал тут же. Через пять минут его будили:

— Капитан! Вторая рота у телефона.

И он уползал опять, протирая на ходу глаза снегом. Тотчас мы слышали его голос, хриплый от напряжения.

— Кто у телефона? Александр Палыч? Все лежишь? Пора вставать, милый... Вставай, тебе говорят... Ты их сломишь и не заметишь. Обещаешь? Ну вот, хорошо.

— Лейтенант! Алло! Вы где? Не слышу! Какая высота? Мики... Что? Микита? Не может быть. Мики-Мяки? Уже добрались? Молодец, лейтенант! Спасибо, Вася!

— Деревянкин, соедините со второй ротой! Связь «порвана»? Вызовите связного!

— Что у вас там случилось? Пулеметы справа? Сколько? Патроны есть? Держитесь! Сейчас приду!

Он опять вваливался в наш шалаш. — Чайку кружечку.

— Товарищ капитан, разрешите о вами.

— Не стоит. Опасного ничего нету, конечно. А все-таки не стоит. Тут теплее.

Все же мы вылезаем в тьму, Алешин ныряет в ельник, за ним — несколько человек охраны, за ними мы. Мы то ползем, то бежим, поднимаясь на горушку, господствующую над округой. Наконец добираемся. Тут небольшие окопы, замаскированные еловыми ветками и жердями, вытащенными из забора.

— Павлов, — шепчет Алешин, — ты где тут?

— Лейтенант — вон он, в воронке там.

Мы ползем в воронку. Алешин спрашивает о патронах и наскоро объясняет:

— По сигналу соединитесь с первым батальоном, они уже вышли. Внезапно ярчайшее пламя вспыхивает направо. Звенящий грохот разрыва. Что-то загорается там, кругом светло.

— Хоть иголки собирай, — говорит кто-то.

Мы ползем обратно. Капитан все время останавливается, протирает стекла бинокля и смотрит назад. Там видно, как при свете зари по снегу движутся маленькие фигурки, перебегая из одного леса в другой. Это — противник. Он перегруппировывает свои силы, чтобы непременно задержать нас возле укрепленного рубежа.

Мы снова в шалаше.

Снова это ожидание, особенно мучительное тогда, когда вдруг грохот прекращается и возникает тишина.

Заняли?

Или отступили?

Или готовятся к новой атаке?

И снова — дробь, нарастающая трескотня, в которой взрывы снарядов и мин как бы слепились в оглушительный клубок.

Вдруг кто-то спросил:

— Который час?

— Без пяти восемь.

«Как мало времени прошло», — мелькает мысль.

Но это было без пяти восемь не вечера, а утра. Бой шел шестнадцать часов без перерыва.

Он шел еще столько же. К вечеру следующего дня рубеж был прорван. С одним из героев этого прорыва я встретился через час после окончания боя.

Передовые линии, «передний край» — как называется это здесь. Под самой насыпью железной дороги — финский блиндаж, только что отобранный у врага. Вокруг — лесок. Стволы деревьев в белых ссадинах от снарядов. Бойцы в касках, надетых на шерстяные шлемы грубой вязки, похожие на кольчуги. Шинели, прожженные у костров!, заледенели, торчат, как будто они из фанеры. Огня разводить нельзя, даже курить можно только в окопе или за деревом: противник держит под непрерывным обстрелом эту полосу.

Здесь все временно, все готово тотчас двинуться дальше — оседланы лошади, пятый патрон в стволе, и легкие пушки в любой момент могут повернуться и покатить вперед, роняя по пути маскирующие их ветки.

Тут мы и встречаемся с лейтенантом Денисенко, только что получившим командование батальоном. Он — герой последних боев, тех самых, грохот которых мы слушали вчера ночью. Он подходит в прокопченном своем полушубке, в буденновке, на которой хвоя, в ремнях — весь какой-то легкий, быстрый, пружинный, будто невесомый. Рыжеватая щетина покрывает его щеки, посиневшие от мороза. Брови, как стрелы, летят от переносицы. Серые большие глаза в черных ресницах: украинец. Линия рта юношеской свежести очерчена резко и непреклонно. Этот человек дрался много часов без передышки, ломая яростное сопротивление врага, ведя своих бойцов под ураганным огнем к победе. Невольно вглядываешься в его лицо, стараясь прочесть в нем следы того; что произошло.

Ни признака злобы, ни морщинки жестокости. Но есть нечто, что освещает его изнутри. Как в иных лицах светится доброта, в иных ирония, — это опалено гневом. Кажется, каждый поворот его, каждое движение, каждый взгляд обращены к бойцам, чтобы поднять в них дух возмездия и обрушить их карающей лавиной на врага. Иному будет странно слово «вдохновение» в рассказе о бойце. Музыкант, поэт... Но воин? Тут можно говорить о смелости, находчивости, выносливости, умении... Но вдохновение? А между

тем, это именно так.

...Он шел впереди, атакуя неприступную высоту. Никакой обход с флангов не был возможен, и двигались в лоб по гладкой равнине, быстрыми перебежками, стремясь не дать противнику пристреляться. Уже перед самой линией белофиннов, там, где снег кипел от пуль, услышали наши крик офицера. На чистейшем русском языке там раздалась команда:

— Приготовиться к атаке!

По-видимому, финнов было больше, чем мы предполагали. Надо было немедленно поддержать своих. Бросившись в снег, поползли в обход, то проталкивая пулемет впереди, то волоча его за собой. Наших было шестеро. Рядом с Денисенко полз Вели Гасанов, командир пулеметной роты, и еще четверо смельчаков.

Это был маневр, решение о котором пришло молниеносно. Риск был огромный — горсточку людей легко было обойти, а то и просто уничтожить снайперским огнем. И вот здесь люди почувствовали вдруг, какие силы в них таятся. Слух получил способность различать все звуки этой шумной ночи — выделять стук финских пулеметов, струнные взрывы кидаемых финнами мин, и шорох ползущих цепей, и дыхание каждого товарища рядом. Глаза как бы накалились прозорливостью. Сами удивлялись потом, с какой быстротой ориентировались, как безошибочно находили лучшие прикрития, как стремительно передвигались. Каждый как будто удвоил сам себя. Да, это было именно вдохновение! То самое состояние, о котором потом человек вспоминает: да я ли делал все это?!

Вдруг они почувствовали, что их обходят. Сзади и спереди послышались крики. Это были финны.

— Умру только на высоте! — сказал себе Денисенко.

Они залегли. Белые фигуры ползли и бежали к ним. Они встретили их пулеметным огнем. Те рухнули в снег. Пулемет дал еще очередь и вдруг замолк: за ночь боя он расстрелял все патроны.

Казалось, все было кончено — шестеро против нескольких десятков. Шесть винтовок против десятков автоматов.

Враги наседали, почуя, что с пулеметом неладно.

Денисенко схватил винтовку. Это была пятая атака, которую он отбивал за ночь. Он стрелял, не переставая. Бойцы заряжали ему оружие, и гильзы, выскальзывая из затвора, звенели, падая друг на друга. Гасанов делал то же.

— Бери второго справа, я беру третьего, — шептал он. Надо было не тратить пуль зря. И второй падал и третий падал, но за ними ползли еще и еще. Денисенко не мог определить, сколько времени продолжался этот неравный бой, когда винтовки превратились в пулеметы, а яма в снегу стала смертоносной ДОТ. Было жарко, полушубок мешал. Денисенко сорвал его с себя, разорвал ворот гимнастерки, закатал правый рукав...

Вдруг он бросил винтовку в снег. Она была бесполезна: патроны кончились.

— Гранаты, Гасанов! Давай гранаты!

Бойцы схватились за последнее их огневое оружие. Они заряжали гранаты и подавали командирам. Денисенко и Гасанов, лежа, посылали их врагу.

— Ловко!

— Здорово! — говорили они, следя, как в огне взрывов падали и взлетали в воздух враги.

Первый десяток был брошен.

Второй десяток был брошен.

Последняя граната полетела, и с ее взрывом Денисенко увидел, как несколько человек бросились назад. За ними отпрянули остальные.

Мокрой от пота и снега рукой пожал Денисенко руку соседа. Он взял винтовку.

— Ничего, — сказал он. — Подумаешь — гранаты! — У нас были еще штыки. Мы не могли пропасть.

Они подхватили пулемет и пошли на соединение со своими.

— Вот и все! — закончил он свой рассказ.

— Не скопляться! — крикнул кто-то. — Товарищ Денисенко, к телефону.

— Но как же вы остались целы? — не удержался я.

Он пожал плечами, потом вытянул вперед руки и, захватив пальцами края рукавов, натянул их так, что складки на локтях разгладились, обнаружив светлые незадымленные полосы. Он осмотрел рукава, потом всего себя и сказал с недоуменной улыбкой:

— Чорт его знает! Мне кажется, они стучались об меня, но отскакивали.

Он пожал мне руку и, вероятно, подумав, что недостаточно серьезно отнесся к вопросу представителя печати, добавил:

— Не в этом дело, конечно. Вы меня спрашивали о храбрости. Храбрость, видите ли, это средство к победе, а значит, и к сохранению жизни. Если вы храбры, вы все видите, все учитываете, и опасность уменьшается. Попробуйте перебежать Тверскую, не глядя кругом. Вот вы и раздавлены. А ныряйте ловко, чтобы видеть все вокруг, — и перейдете. Ну, желаю успеха!

Он легко выскочил из окопа и прошел за блиндаж, скрывшись вдруг, как невидимка.

Первые выстрелы ночи резанули воздух. Промчался вестовой, скатился с коня и, на ходу вынимая из сумки пакет, провалился в черной дыре блиндажа.

Беседа была окончена. Не следовало больше мешать людям работать.

Как-то вечером в нашем шалаше появилось новое лицо. Это был невысокий человек в шлеме и добротной шинели, весьма неподходящей к морозам тех дней. Он имел вид бледный и равнодушный, нос у него был слегка утиный. Огромное количество снаряжения было повешено на пришедшем — противогаз, револьвер, планшет, туго набитая сумка, электрический фонарь, фляжка, несколько гранат, котелок. Все это было расположено вокруг его бедер в стройном порядке. Тонким голосом он поздоровался с нами, мы потеснились и молча приняли его в круг возле костра. Он уселся на колени, расправил вещи, которые легли вокруг него, и, не распуская ни одного ремня, тотчас уснул. Эту ночь мы не спали — шел бой, — и новый знакомый был предметом наших забот. Мы передвигали его, чтобы он не загорелся, поднимали, когда он клевал носом в пылающие угли. Утром ему был предложен чай, и он вытащил откуда-то маленькую чашечку прозрачного фарфора с блюдцем и ложкой. Чашечка тотчас получила название «лампадки», а новый знакомый — «академика».

Потом оказалось, что он и действительно был таковым.

Он был слушатель Академии связи и приехал к нам на практику.

Мы увидели это в первый же день. С утра он исчез и вернулся лишь поздно вечером.

Несмотря на 30-градусный мороз, он пропадал часов по шесть, облаченный в тонкую шинель, сапоги и суконные брюки — непостижимо, как ухитрялся он не обмораживаться. Обычно он возвращался, навьюченный поверх своей бесчисленной амуниции еще

проводами, катушками, телефонными аппаратами и даже минами. Все это он собирал на передовых позициях ради научного интереса. Так Плиний из любви к истине лез в кратер Везувия.

Он никогда не рассказывал о своих прогулках и никак не извещал об уходе. В то время как другие, идя в «дело», каждый по-своему, но все же стремились отметить моменты своего расставания с товарищами и не могли сдержать радостного возбуждения при возвращении, он исчезал незаметно и приходил молча. Разложив свою добычу, он принимался винтить какие-то гайки, писать и чертить. Каждый день он писал — в большую тетрадь, аккуратно завернутую в коричневую бумагу.

Потом засыпал. Спал он в любых положениях. Однажды он уснул со своей «лампадкой» в руке, не допив чая.

Я ходил с ним в его экскурсии. Линия фронта не была четкой в то время. Мы бродили по лесу, полному следов от финских лыж, ожидая пули из-за каждой сосны, но он так бывал увлечен своими поисками, что не замечал ничего. Он был на практике, и тема всего окружающего была одна: устройство финских аппаратов связи.

Так я его и запомнил — немного сгорбленного, обвешанного амуницией, возвышающегося, как конус, над спящими телами возле костра и тоже спящего глубоким сном в своих проводах и с «лампадкой» в протянутой руке.

Пожалуй, он был одним из самых храбрых, кого я встречал в Финляндии.

«Сортировочная». Так называется маленький домик, в который поступают раненые, как только их привозят сюда. Тут их распределяют по отделениям — «сортируют». Плохое слово в применении к людям.

Впервые мы попали туда, как только приехали. На фронте было затишье. В комнате, очень большой и чистой, шли тихие разговоры, одна из сестер играла на пианино... Все было мирно, и даже у кого-то из пришедших презрительно вырвалось слово «тыл».

Но сегодня всю ночь бухали пушки где-то на западе, и, ложась спать, мы еще гадали, откуда бы эта канонада. Со второй половины дня стали приходить ^Агрузовики, полные раненых. Фронт продвинулся вперед, но бои были тяжелые.

Вечером «сортировочная» была полна.

Теперь и просторность и музыка — все исчезло. Под ногами валялись коричневые тряпки шинелей с черными по краям дырами от костров, терпкий запах прелых валенок стоял в воздухе, сестры в белых халатах, измазанных кровью, возились возле раненых, сидевших и лежавших вдоль стен.

О, эта скованность движений человека, когда ему больно! Какие позы он ловчится принять, чтобы избежать болевого толчка от ставшей чужой руки или ноги, на которую война положила свою марлевую отметину.

Локти, отставленные от туловища, нога, как белый топор, поднятая и висящая, голова, повернутая в сторону... Страшно проходить мимо них, потому что кажется — того и гляди заденешь за продолжение обнаженных нервов, протянутых по всей комнате. Сестры и доктора движутся здесь свободно, их спокойные лица и быстрые руки не обнаруживают никакого волнения.

— Пулевая в плечо. Средняя. В третье отделение. Иванков Павел Николаевич. N-ский полк. Из Вохмы.

— Осколок в бедро. Правая. В операционную.

...Ни одного стога. Ни одной жалобы. Ни тени страха. Русские люди.

Высокая сестра, с которой еще не сошел крымский загар, возится с политруком, совсем

юным, разбинтовывает ему плечо. Тому больно. Он, не отрываясь, смотрит в переносицу женщины.

— Очень хорошо, — говорит он сквозь сжатые зубы, — вот и прекрасно... Очень хорошо. Он, конечно, не думает о том, что именно эти слова повторял раненый Пушкин.

— Вы скажите, если очень больно, — говорит ему сестра. Он понимает это по-своему:

— Если все будут кричать, что же это получится?

...Идем по госпиталю. Заводские домики, как и весь громадный завод (о котором я уже писал, что он сохранился), превращены в лазарет. Можно подумать, что все это было с самого начала построено для больницы. Среди глухих снегов в разрушенном городке здесь сияет электричество. В палатах, в чистоте и тепле, журчит радио. В операционных оборудоване, как в Москве, рентгеновские кабинеты какой-то особой конструкции позволяют производить исследования о чрезвычайной быстротой и точностью.

Начальник госпиталя, невысокий человек с необыкновенно сердитыми глазами и лицом прокурора, произносящего обвинительную речь, носится по своему хозяйству и со злобой изыскивает все новые способы улучшения.

— Военврач Шапиро, — кричит он голосом, от которого мурашки бегают по коже, — баня отремонтирована. Бросьте туда первую партию.

Люди приходят из бани, поддерживаемые санитарями, их кладут на разнокалиберные, но чистые койки, в шуршащее белье. Когда знаешь о том, что перенесли они, привезенные сюда с передовых, чувство благодарности поднимается в сердце. Свет, тепло, женские руки — какое это счастье! Сама Родина странно воплотилась в этом сердитом маленьком человечке с револьвером на боку, таким громадным, что его надо бы поставить на лафет.